

• СЛЕДЫ ДО ПРОБУЖДЕНИЯ •

До того как откроются глаза



• Денис Пожидаев •

Денис Пожидаев

До того как откроются глаза

<https://litres.ru/74375743>

SelfPub; 2026

Аннотация

Дорога приводит Элиана домой, в Ладень, — и здесь его ждёт последнее и самое трудное. Позади семь краёв и семь историй; впереди — правда о нём самом, которую он однажды сам попросил забыть. Город запирается от страха, спутники открывают свои секреты, а выбрать придётся не «вспомнить всё» и не «забыть навсегда», а что-то куда более честное — и не одному. Финальная, самая тёплая повесть цикла: про совесть, про то, что нельзя решать за другого даже из любви, и про начало, которое держат в руках. История завершается — и оставляет тихую дверь приоткрытой.

Денис Пожидаев

До того как откроются глаза

СОН, КОТОРЫЙ ПОМНИТ

Цикл «Следы до пробуждения»

ДО ТОГО КАК ОТКРОЮТСЯ ГЛАЗА

Повесть восьмая

Глава 1. Письмо моим почерком



Утро застало их на полпути домой — на маленьком дворе у дороги, что вела к Ладени. Позади осталось семь краёв и семь историй; впереди, за холмами, ждал дом. Элиан проснулся первым, ещё в серых сумерках, и не сразу понял, что его разбудило.

У порога уже лежал след. Шестипалый, знакомый — Раньше. Только самого Раньше у порога не было: пёс спал в углу, свернувшись, все шесть лап поджаты. След пришёл раньше лапы, как у него всегда, — но обычно на секунду, на две. А

этот лежал у двери давно, будто Раньше собирался выйти и всё не выходил. Будто след знал что-то, чего пёс ещё не решил.

Элиан потрогал деревянную птицу — свою Первую вещь, обтёртую до тепла, он возил её с собой все семь дорог. Птица была на месте, и от неё, как всегда, делалось спокойнее. Начало не помнят — начало держат в руках, говорили дома.

А на столе лежал конверт.

Его не было вечером. Элиан помнил стол пустым — миски, лампа, и всё. А теперь — плотный конверт, будто пролежал тут годы и только сейчас проступил. Элиан взял его. На конверте одна строчка:

«Открыть после седьмой ошибки».

Он сосчитал про себя. Ладень, Край Шорохов, тот город, где боялись ошибиться, место между людьми, та, что просила назвать её первой, равнина медленных часов, край, где чуть не называли друг друга врагами. Семь. Семь дорог, семь бед, семь раз, когда что-то шло не так и они выправляли это вместе. Семь ошибок. Ровно семь — позади.

И почерк на конверте. Элиан всмотрелся — и в тёплом утре стало холодно. Почерк был его. Наклон, петля на «р», как он выводит с малолетства. Его рука. Только он этого письма не писал. Он бы помнил, как пишешь себе письмо. А он не помнил.

— Сперва поешь, — сказала Илма, приподнявшись на своём месте. Голос у неё был тёплый и чуть встревоженный

разом — она уже увидела конверт, и что-то в её лице дрогнуло, короткое, как «не снова». — Что бы там ни было, оно подождёт, пока ты поешь. Холодное письмо на голодный живот — плохо ложится.

Элиан не открыл конверт. Подержал — тяжёлый, настоящий, с его собственной строчкой сверху — и положил рядом с птицей. Две вещи из его начала: одна, которую он держал всю жизнь, и другая, которую он написал себе сам и не помнил когда.

За тыном, в спящей ещё деревне, тонкий детский голос докатывал считалку — кто-то не спал, играл сам с собой. «... через дверь, через ласт...» — донеслось и стихло. Чужое, ниоткуда не переводимое словечко, которое дети передавали из края в край; Элиан слышал его во всех семи. Он и сам не знал, что оно значит. Никто не знал.



Он открыл конверт, когда проснулись остальные и над двором встало настоящее, тёплое солнце. Так было легче — при всех.

Внутри лежало три вещи.

Первая — карта. Но странная: дороги на ней были прочерчены и тут же перечёркнуты, будто их стёрли, не убрав

следа. Элиан узнал очертания краёв, где они прошли, — и между ними вились пути, которых он не помнил. «Дороги, которых больше нет», — было надписано сбоку его рукой.

Вторая — список. Ряд коротких строк, пронумерованных, и после каждой — пустое место. «Воспоминание первое:» — и пусто. «Воспоминание второе:» — и пусто. Целый столбец начал без продолжений. Потерянные воспоминания, помеченные там, где их не стало, — как честные пометы «здесь не смотрели», только тут было хуже: здесь смотреть было нечего.

Третья — записка, короткая, в две руки, будто дописанная позже:

«Собери семь якорей — по одному из каждой дороги. Они не дадут тебе ответа. Они дадут тебе право войти.»

И ниже, другим нажимом, торопливее:

«Не возвращай всё сразу. Мы уже пробовали.»

— «Мы», — сказал Элиан вслух. И это было страшнее всего — страшнее исчезнувших дорог и пустого столбца. Он писал себе «мы». Не «я». Значит, их было несколько — тех, кто писал. Или он был не один даже внутри себя. — Кто «мы»?

Тильда взяла карту, повертела; Карманыч склонился над списком, будто хотел занести его в опись; Раньше подошёл, понюхал записку и попятился — тихо, шерсть на загривке дыбом. Он знал что-то про эту бумагу, что-то нехорошее, и не мог сказать.

— «Уже пробовали», — повторила Тильда медленно. — Значит, это было. Значит, кто-то — ты, мы — уже возвращал всё сразу. И вышло так, что пришлось писать себе: не делай. — Она подняла на Элиана глаза, и Элиан заметил, как их у неё словно двое: один смотрит на него, другой — куда-то мимо, в сторону, где стоит её вторая тень.

— Что вышло? — спросил Элиан.

— Не написано, — сказал Карманыч, проверив список до конца. — По пунктам всё аккуратно, а вот «что вышло» — пропущено. Кто-то очень старался не оставить себе этого. — Он помолчал и добавил тише, по-своему, по-учётному: — Так прячут не мелочь. Так прячут то, что не хочется найти.

И список с пустыми строками лежал на тёплом столе, а в пустых строках было тише, чем в любой громкой беде.



Тильда видела мир дважды. Так было всегда, сколько она себя помнила — а помнила она себя тоже дважды, не всегда одинаково. Обычно две её версии смотрели на одно и то же и почти совпадали. Сейчас — разошлись.

Она отошла к тыну, где никто не мешал, и разложила перед собой карту письма. Одна её тень легла на бумагу привычно. Вторая — чуть в стороне, будто читала другую карту,

которой на столе не было.

И обе видели одно: дороги, которых больше нет, вели не абы куда. Они сходились. Все стёртые пути тянулись к одной точке — к Ладени.

А ещё Тильда слышала. Не ушами — тем вторым зрением, которым ловят чужое. По всем семи краям разом что-то вздрагивало. В Краю Шорохов раньше ветра дрогнули запасные двери. Там, где мерили ответ, качнулись межи — и, говорят, зазвенели без причины. На равнине медленных часов один день вдруг сложился с другим, как две страницы. В городе, где боялись ошибиться, на стенах проступили старые пятна. Порознь — мелочь, странность. А вместе — одно: вздрагивания начались одновременно, во многих краях, и все клонились в одну сторону.

К дому. К Ладени.

— Это не семь разных бед, — сказала Тильда, вернувшись к столу. — Это одна, растянутая на семь краёв. И тянет её домой. — Она положила карту. — Дороги ведут в Ладень. Все. Даже те, которых больше нет.

И тут вторая её тень сделала то, чего не сделала первая: чуть подалась назад, будто не хотела туда, домой. Тильда придержала её — незаметно, как придерживают за руку ребёнка, чтоб не выдал. Она узнала в этих вздрагиваниях что-то. Что-то, чего не сказала вслух. У неё была своя тайна про Ладень, про то, что там случилось однажды, — и эта тайна жила во второй тени, и Тильда весь путь держала её при себе.

— Ты чего-то не договариваешь, — сказал Элиан. Не в упрёк — он просто видел.

— Я много чего не договариваю, — сказала Тильда ровно. — У меня две памяти, Элиан. Иногда они спорят. Когда договорятся — скажу. — И это была правда, честная и неполная разом; так она умела.



Решать было, в общем, нечего. Идти домой. Раз всё вздрагивает и всё тянет к Ладени, раз письмо велит собрать семь якорей из семи дорог — а дороги ведут туда же, — значит, домой. Через край за краем, подбирая по якорю, к Дому Первых Вещей.

Элиан сложил письмо, спрятал за пазуху, рядом с птицей. Тёплое дерево и холодная бумага, начало, которое он держал, и начало, которое он забыл, — теперь вместе, у самого сердца.

Стали собираться. Илма увязывала снесь в дорогу — долгий бульон перелила в дорожный котелок, лепёшки завернула; «сперва согрейся, потом иди», говорила она всю жизнь, и сейчас грела их напоследок. Карманыч проверял карманы — и один, зашитый наглухо, вдруг потянул его в сторону Ладени, будто внутри что-то повернулось к дому. Карманыч при-

держал карман ладонью и ничего не сказал.

А Раньше вышел на середину двора, к пыльной проплешине, и стал писать. Лапой. Он так умел — коряво, по одной букве, когда его переполняло чужое. Все смотрели.

Он вывел: «РАНЬШЕ».

Своё имя. Или не имя — просто слово: раньше. Было раньше. Уже было. Он написал это и посмотрел на Элиана — виновато, тревожно, как смотрят, когда знают беду и не могут выговорить. И снова провёл лапой по пыли, подчёркивая: раньше. Раньше.

— Он говорит, что это уже было, — тихо сказала Илма. И осеклась, будто сказала лишнее.

— Ты откуда знаешь? — спросил Элиан.

Илма не ответила. Только погладила Раньше по загривку, и шерсть у пса улеглась, и он ткнулся ей в ладонь, и стало почти по-домашнему. Почти.

Они вышли на дорогу, когда солнце поднялось совсем. Позади оставался тёплый двор, впереди лежал путь домой — тот самый, что когда-то был началом. Элиан шёл, придерживая за пазухой две вещи, и думал не про исчезнувшие дороги и не про пустой столбец. Он думал про слово «мы» в письме своей рукой. Их было несколько. И один из них когда-то очень старался, чтоб остальные не вспомнили — что.

А след Раньше, как всегда, ложился на дорогу чуть раньше самого Раньше — и вёл вперёд, к Ладени, будто пёс уже прошёл там, где они только собирались пройти.

Глава 2. Семь якорей



Дорога домой шла не прямо. Она петляла между краями, где они уже бывали, — и письмо, кажется, того и хотело: чтобы по пути они собрали семь якорей, по одному из каждой дороги.

«Они не дадут тебе ответа. Они дадут тебе право войти», — перечитывал Элиан на привале.

— Право войти куда? — спросил он.

— Туда, где ответ и лежит, — сказала Тильда. — Якорь — не ключ и не разгадка. Это как порог. Соберёшь семь — тебя пустят внутрь. Не соберёшь — так и будешь стоять снаружи, сколько ни стучи.

Карманыч достал чистую опись и стал заносить, по пунктам — он так успокаивался.

— Значит, семь предметов, — сказал он. — По одному с каждой дороги. И у каждого — своя тема, гляньте. Тут, в письме, подписано твоей рукой: начало, возможность, ошибка, двойная версия, отпускание, опасное знание, право пересмотреть согласие. Семь слов. Семь якорей.

И это было самое странное. Письмо знало заранее — ров-

но семь, ровно эти. Будто тот, кто писал, уже прошёл весь путь до конца и разложил его на семь камешков, чтоб будущий он не заблудился. Его собственная рука знала дорогу, которой он ещё не помнил.

— Некоторые у нас уже есть, — заметил Элиан, тронув птицу за пазухой. — А за другими придётся зайти. Хорошо, что дорога и так мимо ведёт.

И они пошли собирать — не спеша, край за краем, как заходят по пути к старым знакомым.



Первый якорь Элиан носил с собой всю жизнь.

Деревянная птица. Его Первая вещь из Дома Первых Вещей. Начало. Он положил её на плоский камень посреди привала — и она легла первой, тёплая, обтёртая ладонями. «Начало не помнят — начало держат в руках». Вот оно, начало, в руке.

За вторым зашли в Край Шорохов — тот, где раньше ветра дрожат запасные двери, где в каждом доме есть выход, о котором не знает даже хозяин. Их встретил Севр. Тот самый мальчишка, которого когда-то боялись заранее, — теперь повыше, поспокойнее, и на него больше не косились как на будущую беду.

— Я знал, что вы придёте, — сказал Севр. — У нас тут снова вздрагивает. И я подумал: если что и отдавать, то это.

Он протянул странную вещь — отпечаток следа в застывшей глине. След чудовища, которого не было. В Краю Шорохов такое случается: готовятся к беде так сильно, что беда оставляет след, не родившись.

— Несостоявшийся след, — сказал Севр. — Возможность. То, что могло прийти — и не пришло. Мы тут все умеем бояться того, чего ещё нет. А ты, кажется, ищешь как раз про это — про то, что могло быть.

Элиан взял холодную глину. Возможность — вот она, отпечаток того, чего не случилось. Второй якорь лёг рядом с птицей. И Севр напоследок сунул им в котелок горячих корешков — «в дорогу, а то у вас лица голодные».



Третий якорь ждал в Исправне, городе края Отметин, где всё меряют по ошибкам.

Там жил Найр — мальчик, который однажды взял на себя чужую ошибку и чуть не потерял из-за неё собственное имя: в тех краях Стыд любит заменять имя человека описанием его промаха, и человек ходит уже не «Найр», а «тот, кто испортил».

Найр отдал им маску — простую, глиняную, из тех, за которыми в Исправне признаются в проступке, не показывая лица. Но эта маска была особенная: изнутри на ней было выцарапано имя. Настоящее. Живое.

— Маска с сохранённым именем, — сказал Найр. — Ошибка. Её носят, когда каются. Но кто-то — давно — нацарапал под ней имя, чтоб не забыли: под ошибкой всё равно человек. Можно назвать промах промахом и не назвать себя промахом. Держи. Тебе, я чувствую, это нужнее.

Ошибка — но с именем внутри. Третий якорь.

А четвёртый был у них с самого начала — и вот тут вышло неловко.

— Твои два ключа, Тильда, — сказал Элиан. — В письме — «двойная версия». Это ведь про тебя. Твои ключи — четвёртый якорь.

Тильда не сразу отдала. Её рука дрогнула — и обе тени дрогнули с ней, одна к ключам, другая от них.

— Они мои, — сказала она. Тише обычного. — Ими открывают... не одну дверь. А две. Одну — какая была. Другую — какую я сделала, чтоб была. — Она помолчала, будто чуть не сказала лишнее. — Ладно. Держи. Только знай: этот якорь — не про дверь. Он про то, что я однажды дала миру запасную дверь, о которой не спросила ни у кого. Возьмёшь его — возьмёшь и это.

Элиан не понял до конца. Но взял. Два ключа Тильды звякнули, ложась к остальным, — и звякнули по-разному,

будто и вправду были из двух разных историй.



Пятый якорь принесли из того края, где просили назвать их первыми, где всё мерили тем, кого выбрали раньше.

Это был узел. Красный, из тонкой нити — когда-то завязанный слишком туго. Так вяжут, когда хотят удержать человека при себе, привязать накрепко, чтоб не выбрал другого. А теперь узел был развязан — бережно, не разорван, а именно распущен, петля за петлёй.

— Отпускание, — сказала та, что его прислала. — Я завязала его когда-то на другом человеке. Думала: если крепко — значит, любит и не уйдёт. А потом развязала. Не порвала — развязала. Оказалось, любить можно и не держа. Пусть будет у тебя.

Развязанный узел лёг пятым. Отпускание.

Шестой пришёл с равнины медленных часов, где дни повторяются и время замедляется, если на него смотреть. Кто-то там, давно, вёл записи — и в одной, старой, полустёртой, значилось странное. Про Элиана.

«Сквозь него кто-то смотрит», — было написано. И дальше, помельче: «Рядом с ним мир перестаёт повторяться. Будто кто-то, глядя его глазами, не хочет, чтоб день повторился

зря».

Элиан прочёл — и по спине прошёл холодок, как тогда, от письма. Опасное знание. Кто-то заметил в нём то, чего он сам о себе не знал. Шестой якорь он взял осторожно, будто тот жёгся.

А седьмой отдала Фина — та, что всю жизнь ведёт записи и умеет исправлять их, не стирая. Она пришла сама, откуда-то, как приходила всегда, когда речь заходила о записях.

— Исправленный документ, — сказала Фина, протягивая лист. — Погляди: тут было одно согласие. Старое. А поверх — поправка, новой рукой, новым числом. И старое не затёрто — видно оба. Право пересмотреть прежнее согласие. Кто дал слово однажды — вправе позже сказать: я передумал, вот почему. Не соврать, что не давал. А честно поправить. Это, Элиан, тебе понадобится больше всего.

Семь. Он разложил их в круг на камне: птица, глиняный след, маска с именем, два ключа, развязанный узел, полустёртая запись, исправленный документ. Начало, возможность, ошибка, двойная версия, отпускание, опасное знание, право пересмотреть.

Ответа не было. Семь предметов лежали и молчали. Но что-то переменялось: воздух в кругу стал плотнее, холоднее, будто внутри круга приоткрылась какая-то дверь.

Раньше обошёл круг — и не ступил внутрь. Замер на краю, поджал переднюю лапу, заскулил тихо. Он уже был за этой дверью однажды и чуть не потерял там себя. Его след

лёг у самой черты круга — и не пошёл дальше.

— Право войти, — тихо сказала Тильда, глядя на плотный, холодный воздух посреди тёплого камня. — Собрали. Теперь нас пустят. — И, помолчав: — Вопрос только, хотим ли мы, чтоб пустили.

А над холмами уже виднелась Ладень — и что-то в городе, под ним, в глубине, начинало просыпаться, будто и оно почуяло, что семь камешков легли в круг.

Глава 3. Дороги, которых больше нет



Карта письма вела странно. На ней дороги были прочерчены и тут же перечёркнуты — «дороги, которых больше нет». И всё же по ним шли.

Работало это так, как в их мире всегда работали дороги переживания: земля тут не лежала неподвижно. Расстояние между местами зависело не от шагов, а от того, что у тебя внутри. Если ты вправду решил дойти — путь укорачивался. Если сомневался, тянул, боялся — растягивался, петлял, уводил.

Перечёркнутая дорога появлялась под ногой не сразу. Сперва — как тень тропы в траве. Потом, если шаг был твёр-

дый, тень уплотнялась в настоящую тропу. А если нога дрожала — тень таяла, и приходилось искать обход.

Раньше шёл впереди уверенно. Его шестипалый след ложился на несуществующую дорогу чуть раньше самой лапы — и там, где лёг след, тропа делалась настоящей. Пёс хотя бы твёрдо знал направление: домой.

— Это не карта земли, — понял Элиан, глядя, как под ними проступают и тают пути. — Это карта решений. Дорога есть, если мы вправду решили по ней идти. Нет — если только делаем вид.

— Вот именно, — сказала Тильда. — Оттого прежний ты и нарисовал их перечёркнутыми. Они не стёрты насовсем. Они ждут, пока кто-нибудь по-настоящему захочет по ним пройти.



К полудню они прошли холм с деревом, расколотым молнией пополам. Приметный холм — не спутаешь.

А через час снова вышли к нему. Тот же холм, то же расколотое дерево.

— Мы кружим, — сказала Тильда, остановившись. — Второй раз этот холм. Дорога закольцевалась.

— Как? — не понял Элиан. — Мы же всё время шли впе-

рёд, к дому.

— Шли, — сказала Тильда. — А дорога слушает не ноги. Она слушает нутро. Раз петляет — значит, кто-то из нас не совсем хочет прийти. Или хочет, а сам себе не признаётся в чём-то. Непризнанное чувство удлиняет путь. Всегда так было.

И все посмотрели на Элиана. Не в упрёк — просто он шёл впереди, к своему дому, к своей тайне; если кто и тянул, то, верно, он.

— Я не тяну, — сказал Элиан. И сказал слишком быстро. — Я хочу домой. Хочу разобраться. Хочу вспомнить, кто я и что было. Я ничего не боюсь.

Он сказал это твёрдо, громко — и следующая тропа под ногами вышла длиннее прежней. Дерево-раскол уплыло вбок, но за поворотом встал новый холм, и за ним ещё, и дорога потянулась, будто нарочно уводя от Ладени.

— Чем громче ты говоришь «не боюсь», — тихо заметила Илма, — тем длиннее становится путь. Дорога тебе не верит, сынок. И, кажется, права.

Элиан насупился и промолчал. А дорога всё длиннела.



Карманыч, чтобы быть полезным, взялся за своё — све-

рять карманы с картой. У него их было множество, по всей одежде: рабочие, глубокие, потайные, и несколько — зашитых наглухо, давно, он и сам не помнил когда.

Он прикладывал ладонь к каждому и заносил в опись: «карман левый — пусто; карман нагрудный — моток; карман потайной — тихо». Так он успокаивался: что описано, то не страшно.

И вдруг один зашитый карман — потянул.

Не сам по себе. А в сторону. К Ладени. Будто внутри, под наглухо застроченной тканью, что-то повернулось к дому и тихонько поволокло Карманыча за собой. Он замер. Приложил ладонь — под пальцами что-то было, плотное, и оно тянуло. Потом потянул второй зашитый карман. Третий чуть дрогнул.

Карманыч попробовал занести это в опись — рука сама вывела: «карман зашитый — тяга, слабая, к Ладени; причина —». И остановился. Причину он написать не мог. Потому что где-то очень глубоко, под всеми описями, он знал: он сам зашил эти карманы. Давно. Зачем-то. И то, что в них тянет домой, — его же, спрятанное собственной рукой.

Опись не помогала. Карман, который тянет к дому, не подошьёшь строчкой «причина не установлена». Карманыч поглядел на зашитые швы — ровные, крепкие, его работа — и по спине прошёл холодок не хуже Элианова. Мальчик боялся вспомнить, что было. А Карманыч боялся своих же карманов.

Он посмотрел на Элиана, что упрямо шагал впереди, растягивая дорогу своим «не боюсь», — и подумал: прячет мальчишка чувство, оттого и кружим. И тут же, честно, про себя: и я прячу. Вон, целых три зашитых кармана прячу. Только он своё вслух ещё скажет, а я — нет. Пока нет.

И не сказал. Заштопал мысль, как карман. И пошёл дальше, придерживая ладонью то, что тянуло его домой против воли.



Вечером они встали на ночлег — и, конечно, у того же расколотого дерева. В третий раз. Дорога так и не пустила их к Ладени, хотя город виднелся с холма, рукой подать.

Элиан сидел злой и растерянный. Илма села рядом — не расспрашивая, просто рядом, как умела. Помешала бульон в котелке, дала ему миску.

— Дорога не врёт, — сказала она наконец, тихо. — Она удлинится, когда мы себе врем. Ты весь день говоришь «не боюсь» — а идём по кругу. Значит, где-то боишься. Не мне скажи. Себе. Чего ты себе не говоришь?

Элиан хотел опять сказать «ничего». И — не смог. Устал врать; дорога вымотала эту ложь из него.

— Боюсь, — сказал он тихо. — Я боюсь, мам. Не домой

идти боюсь. Вспомнить боюсь. — Он сжал в кармане деревянную птицу. — Там, в письме, «мы». Там прежний я, который всё знал. И я боюсь, что если вспомню всё — я стану им. Что тот, прежний, займёт место, а меня, вот этого, не станет. Что я перестану быть тем, кто смотрит вот этими глазами. Я не смерти боюсь. Я боюсь исчезнуть внутри самого себя.

Он сказал это — и стало тихо. И в тишине что-то сдвинулось. Раскол на дереве будто выпрямился; за спиной, там, где весь день петляла дорога, тропа вдруг легла прямо — короткая, ясная, до самых огней Ладени.

Дорога поверила. Он назвал честно, чего боится, — и путь выпрямился.

— Вот, — сказала Илма, и в голосе её было тепло и грусть разом. — Бояться вспомнить — не стыдно. Стыдно врать, что не боишься. Ты сказал правду — и дорога тебя пустила. Значит, идём. И вот что, сынок: я тебя знаю не тем, кто был раньше. Я тебя знаю вот этим — который боится и всё равно идёт. Этого мне и хватает.

Она обняла его, коротко, по-домашнему, и от неё, как от птицы, делалось спокойнее. Они доели бульон и легли спать в последний раз под открытым небом — потому что назавтра, теперь уже точно, была Ладень.

А в Ладени, под тёплыми фонарями, под мирными калитками, глубоко внизу, старая защита города поворачивалась во сне — и вот-вот должна была проснуться совсем.

Глава 4. Дом, который открылся



Ладень встретил их иначе, чем провожал.

Илма шла впереди и видела то, чего не увидели бы дети: город изменился. У домов, что прежде имели один вход, теперь появились новые выходы — сбоку, со двора, наружу. У порогов висели не по одной строчке истории, а по две, по три — и некоторые спорили между собой: «здесь родился такой-то» / «здесь такой-то впервые ушёл». На площади шло открытое обсуждение архива — то, что раньше было тайной Опор, теперь разбирали вслух, при всех, и спорили, и не боялись.

И люди были разные. Одни радовались новым выходам и открытым страницам — дышалось шире. Другие хмурились: слишком открыто, слишком много версий, в такие щели, того гляди, надует беду.

Илма чувствовала и то, и другое разом. Она всю жизнь хранила домашние воспоминания — и знала, как это, держать не одну версию, а несколько, и не сойти с ума. Город научился тому же, чему давно научилась она: у истории может быть больше одной честной страницы. Это было хорошо. И всё же под гордостью шевелилась тревога: не слишком ли?

не сквозит ли?

А ещё — и вот это она никому не сказала — когда она вошла в город, ведя за собой всех четверых: Элиана, Тильду с её двумя теньями, Карманыча, придерживающего тянущий карман, и Раньше, — в ней поднялось старое, тёмное. Будто она уже вела эту четвёрку домой. Будто это уже было.

«Не снова», — подумала Илма и сама испугалась своей мысли. И не поняла до конца, откуда та взялась.



Дома, в жилой части Дома Первых Вещей, Илма первым делом поставила чайник. Обычай был старый и добрый: вернувшись — первый чай, раньше всяких расспросов. «Сперва согрейся, потом рассказывай». Холодную дорогу отогревают, а уж потом её пересказывают.

Она разлила по кружкам. Тепло, пар, знакомые стены, деревянная птица Элиана на своём месте на полке. Всё было домашнее, доброе — то самое, ради чего идут домой.

И тут она посмотрела на стол — и вздрогнула.

За столом сидели четверо. Элиан, подперев щёку. Тильда, и обе её тени легли на скатерть, чуть не совпадая. Карманыч, машинально глядящий зашитый карман, что всё тянул к чему-то. Раньше под столом, поджав шесть лап. И это располо-

жение — эти четверо, за этим столом, в этот час — было ей знакомо до дрожи. Она уже видела эту картину. Однажды. И в тот раз всё кончилось белой комнатой и тем, что наутро они забыли друг друга.

Чайник стукнул о стол чуть сильнее, чем надо.

Илма помнила кое-что, чего не помнил никто из них. Она помнила, что был уговор — что однажды она должна будет рассказать Элиану одну вещь, когда придёт срок. И сейчас, глядя на этот стол, она чувствовала: срок, кажется, пришёл. Или почти.

Она открыла рот — и не сказала. Вместо этого налила Элиану второй кружки, подоткнула Раньше под бок старый плед, поправила Тильде воротник. Руки делали доброе, а язык молчал. Потому что сказать — значило пустить в тёплый дом ту самую белую комнату. А Илма столько лет берегла сына именно от неё. Она молчала не по злобе. Она молчала, потому что любила и боялась потерять.

— Спите пока, — сказала она тихо. — Утро вечера мудренее. — И, укрывая, чуть слышно напела, как в детстве: — «Что забылось — не значит ушло... держит мама начало за нас...» — И на этой строчке голос у неё дрогнул, будто песня знала больше самой Илмы.



Ниву Элиан встретил во дворе Дома Первых Вещей наутро. Она подросла с тех пор, как он уходил, — но всё равно была маленькая, и в руке крепко держала свою Первую вещь: гладкий речной камешек с дыркой посередине.

— Ты вернулся, — сказала Нива. Не удивилась — обрадовалась. И сразу, как дети, без подхода, выложила то, что её мучило: — Элиан, а ты помнишь, каким был, когда уходил? Ты долго ходил. Ты не забыл себя тамошнего?

— Вроде помню, — сказал Элиан осторожно. — А что?

— А я боюсь, — сказала Нива и сжала камешек. — Я расту. И боюсь: вырасту — и забуду, какая была маленькой. Со всем. И тогда я буду уже не я, а какая-то большая тётя, а маленькой меня никто и не вспомнит. Даже я сама. Как будто маленькой меня и не было. — Она подняла на него глаза. — Ты большой. Тебе не страшно, что маленького тебя больше нет?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.